Предисловие «Полки»

Великая поэма, праздник нелепости и гротеска, от которой парадоксальным образом отсчитывают историю русского реализма. Задумав трехчастное произведение по образцу «Божественной комедии», Гоголь успел завершить только первый том — в котором ввел в литературу нового героя, дельца и плута, и создал бессмертный образ России как птицы-тройки, несущейся в неизвестном направлении.

Варвара Бабицкая

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

В губернский город N. приезжает отставной чиновник Павел Иванович Чичиков, человек, лишенный отличительных черт и всем приходящийся по нраву. Очаровав губернатора, городских чиновников и окрестных помещиков, Чичиков начинает объезжать последних с загадочной целью: он скупает мертвые души, то есть умерших недавно крепостных, которые еще не внесены в ревизскую сказку*[1] и потому формально считаются живыми. Навестив последовательно карикатурных — каждый в своем роде — Собакевича, Манилова, Плюшкина, Коробочку и Ноздрева, Чичиков оформляет купчие и готовится довести до конца свой таинственный план, но к концу первого (и единственного завершенного) тома поэмы в городе N. сгущаются какие-то хтонические силы, разражается скандал, и Чичиков, по формулировке Набокова, «покидает город на крыльях одного из тех восхитительных лирических отступлений... которые писатель всякий раз размещает между деловыми встречами персонажа». Так заканчивается первый том поэмы, задуманной Гоголем в трех частях; третий том так и не был написан, а второй Гоголь сжег — сегодня нам доступны только его реконструкции по сохранившимся отрывкам, причем в разных редакциях, поэтому, говоря о «Мертвых душах», мы подразумеваем в общем случае только первый их том, завершенный и опубликованный автором.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

В знаменитом письме к Пушкину в Михайловское от 7 октября 1835 года Гоголь просит у поэта «сюжет для комедии», чему был успешный прецедент — интрига «Ревизора» тоже выросла из анекдота, рассказанного поэтом. К этому времени, однако, у Гоголя написаны уже три главы будущей поэмы (их содержание неизвестно, поскольку автограф не сохранился) и, главное, придумано название «Мертвые души».

«Мертвые души» задумывались как сатирический плутовской роман, парад злых карикатур, — как писал Гоголь в «Авторской исповеди», «если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся». Во всяком случае содрогнулся Пушкин, который слушал в авторском чтении первые главы в ранней, не дошедшей до нас редакции, и воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!»[1] Таким образом, хотя впоследствии поэма Гоголя приобрела репутацию гневного приговора российской действительности, на самом деле мы имеем дело уже с добрыми, милыми «Мертвыми душами».

Постепенно идея Гоголя изменилась: он пришел к выводу, что «многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их...», а главное, вместо случайных уродств решил изобразить «одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши»[2], показав именно национальный характер и в хорошем, и в плохом. Сатира

---

*1 Документ с результатами переписи податного населения, проводившейся в России в XVIII и первой половине XIX века. В сказках указывались имя, отчество, фамилия, возраст владельца двора и членов его семьи. Всего было проведено десять таких ревизий.

превратилась в эпос, поэму в трех частях. План ее был составлен в мае 1836 года в Санкт-Петербурге; 1 мая 1836-го там состоялась премьера «Ревизора», а уже в июне Гоголь уехал за границу, где провел с небольшими перерывами следующие 12 лет. Первую часть своего главного труда Гоголь начинает осенью 1836 года в швейцарском городе Веве, переделывает все начатое в Петербурге; оттуда он пишет Жуковскому о своем произведении: «Вся Русь явится в нем!» — и впервые называет его поэмой. Работа продолжается зимой 1836/37 года в Париже, где Гоголь узнает о гибели Пушкина — с этих пор в своем труде писатель видит нечто вроде пушкинского духовного завещания. Первые главы поэмы Гоголь читает знакомым литераторам зимой 1839/40 года, во время недолгого приезда в Россию. В начале 1841-го закончена почти полная редакция «Мертвых душ», но Гоголь продолжает вносить изменения вплоть до декабря, когда он приехал в Москву хлопотать о публикации (последующие правки, внесенные по цензурным соображениям, в современных изданиях обычно не отражены).

КАК ОНА НАПИСАНА?

Самая яркая черта Гоголя — его буйное воображение: все вещи и явления представлены в гротескных масштабах, случайная ситуация оборачивается фарсом, мимоходом оброненное слово дает побег в виде развернутого образа, из которого более экономный писатель мог бы сделать целый рассказ. «Мертвые души» во многом обязаны комическим эффектом наивному и важному рассказчику, который с невозмутимой обстоятельностью описывает в мельчайших подробностях сущую чепуху. Пример такого приема — «удивительный в своем нарочитом, монументально величавом идиотизме разговор о колесе»[3] в первой главе поэмы (этот прием, страшно смешивший его друзей, Гоголь использовал и в устных импровизациях). С этой манерой резко контрастируют лирические отступления, где Гоголь переходит к поэтической риторике, немало взявшей у святых отцов и расцвеченной фольклором. Считается, что из-за своей насыщенности язык Гоголя «непереводимее всякой другой русской прозы»[4].

Анализируя гоголевские нелепицы и алогизмы, Михаил Бахтин использует термин «кокаланы» (coq-à-l'âne), буквально означающий «с петуха на осла»[5], а в переносном значении — словесную бессмыслицу, в основе которой лежит нарушение устойчивых семантических, логических, пространственно-временных связей (пример кокалана — «в огороде бузина, а в Киеве дядька»). Элементы «стиля кокалан» — божба и проклятия, пиршественные образы, хвалебно-бранные прозвища, «непубликуемые речевые сферы». И действительно, такие простонародные выражения, как «фетюк, галантерейный, мышиный жеребенок, кувшинное рыло, бабёшка», многие современные Гоголю критики находили неудобопечатными. Оскорбляли их и сведения о том, что «бестия Кувшинников ни одной простой бабе не спустит», что «он называет это попользоваться насчет клубнички»; писатель и критик Николай Полевой сетует на «слугу Чичикова, который провонял и везде носит с собою вонючую атмосферу; на каплю, которая капает из носа мальчишки в суп; на блох, которых не вычесали у щенка... на Чичикова,

который спит нагой; на Ноздрева, который приходит в халате без рубашки; на щипанье Чичиковым волосов из носа»[6]. Все это в изобилии является на страницах «Мертвых душ» — даже в самом поэтическом пассаже о птице-тройке рассказчик восклицает: «Черт побери все!» Примерам пиршественных сцен нет числа — что обед у Собакевича, что угощение Коробочки, что завтрак у губернатора. Любопытно, что в своих суждениях о художественной природе «Мертвых душ» Полевой фактически предвосхитил теории Бахтина (хотя и оценочно-отрицательно): «Если и допустим в низший отдел искусства грубые фарсы, итальянские буффонады, эпические поэмы наизнанку (travesti), поэмы вроде “Елисея” Майкова, можно ли не пожалеть, что прекрасное дарование г-на Гоголя тратится на подобные создания!»[7]

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА АВТОРА КНИГИ?

Творчество Гоголя поразило современников оригинальностью — никакие прямые претексты ему не приискивались ни в отечественной словесности, ни в западной, что отметил, например, Герцен: «Гоголь полностью свободен от иностранного влияния; он не знал никакой литературы, когда сделал уже себе имя»[8]. И современники, и позднейшие исследователи рассматривали «Мертвые души» как равноправный элемент мирового литературного процесса, проводя параллели с Шекспиром, Данте, Гомером; Владимир Набоков сравнивал поэму Гоголя с «Тристрамом Шенди» Лоренса Стерна, джойсовским «Улиссом» и «Портретом» Генри Джеймса. Михаил Бахтин упоминает[9] о «прямом и косвенном (через Стерна и французскую натуральную школу) влиянии Рабле на Гоголя», в частности усматривая в структуре первого тома «интереснейшую параллель к четвертой книге Рабле, то есть путешествию Пантагрюэля».

Дмитрий Святополк-Мирский отмечает в творчестве Гоголя влияние традиции украинского народного и кукольного театра, казацких баллад («дум»), комических авторов — от Мольера до водевилистов 1820-х годов, романа нравов, Стерна, немецких романтиков, особенно Тика и Гофмана (под влиянием последнего Гоголь написал еще в гимназии поэму «Ганц Кюхельгартен», которая была уничтожена критикой, после чего Гоголь выкупил и сжег все доступные экземпляры), французского романтизма во главе с Виктором Гюго, Жюлем Жаненом и их общим учителем Чарльзом Мэтьюрином, «Илиады» в переводе Гнедича. Но все это, заключает исследователь, «только детали целого, столь оригинального, что этого нельзя было ожидать». Русские предшественники Гоголя — Пушкин и особенно Грибоедов (в «Мертвых душах» множество косвенных цитат из «Горя от ума», например обилие закадровых и бесполезных для сюжета персонажей, прямо заимствованные ситуации, просторечие, которое и Грибоедову, и Гоголю критики ставили в упрек).

Очевидна параллель «Мертвых душ» с «Божественной комедией» Данте, трехчастную структуру которой, по авторскому замыслу, должна была повторять его поэма. Сравнение Гоголя с Гомером после ожесточенной полемики стало общим местом уже в гоголевские времена, однако тут уместнее вспомнить не «Илиаду»,

а «Одиссею» — странствие от химеры к химере, в конце которого героя ждет, как награда, домашний очаг; своей Пенелопы у Чичикова нет, но «о бабенке, о детской» он мечтает нередко. «Одиссею» в переводе Жуковского Гоголь, по воспоминаниям знакомых, читал им вслух, восхищаясь каждой строчкой.

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Не без цензурных проволочек. Вообще, отношения Гоголя с цензурой были довольно двусмысленными — так, «Ревизора» допустил к постановке лично Николай I, на которого Гоголь и впоследствии рассчитывал в разных смыслах, даже просил (и получил) материальное вспомоществование на правах первого русского писателя. Тем не менее о «Мертвых душах» пришлось похлопотать: «Никогда, может быть, не употребил Гоголь в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году, когда приступил к печатанию “Мертвых душ”»[10], — вспоминал позднее критик Павел Анненков.

На заседании московского цензурного комитета 12 декабря 1841 года «Мертвые души» были поручены заботам цензора Ивана Снегирёва, который сперва нашел произведение «совершенно благонамеренным»[11], но затем почему-то побоялся пропустить книгу в печать самостоятельно и передал ее на рассмотрение коллегам. Тут сложности вызвало прежде всего само название, означавшее, по мнению цензоров, безбожие (ведь душа человеческая бессмертна) и осуждение крепостного права (в действительности Гоголь никогда не имел в виду ни того ни другого). Опасались также, что афера Чичикова подаст дурной пример. Столкнувшись с запретом, Гоголь забрал рукопись из московского цензурного комитета и через Белинского послал в Петербург, попросив при этом похлопотать князя Владимира Одоевского, Вяземского и своего доброго друга Александру Смирнову-Россет. Петербургский цензор Александр Никитенко отнесся к поэме восторженно, однако счел совершенно непроходной «Повесть о капитане Копейкине»[12]. Гоголь, исключительно дороживший «Повестью» и не видевший смысла печатать поэму без этого эпизода, значительно ее переделал, убрав все опасные места, и наконец получил разрешение. «Повесть о капитане Копейкине» печаталась до самой революции в отцензурированной версии; из существенных цензурных правок следует упомянуть еще название, которое Никитенко изменил на «Похождения Чичикова, или Мертвые души», сместив таким образом акцент с сатиры на плутовской роман.

Первые экземпляры «Мертвых душ» вышли из типографии 21 мая 1842 года, уже через два дня Гоголь отбыл за границу[13].

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

С практически единодушным восторгом. У Гоголя вообще была удивительно счастливая писательская судьба: ни одного другого классика так не ласкал русский читатель. С выходом первого тома «Мертвых душ» культ Гоголя окончательно утвердился в русском обществе, от Николая I до рядовых читателей и литераторов всех лагерей.

Молодой Достоевский знал «Мертвые души» наизусть. В «Дневнике писателя» он рассказывает, как «пошел... к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о “Мертвых душах” и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: “А не почитать ли нам, господа, Гоголя!” — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь». В моду вошли гоголевские словечки, молодежь стриглась «под Гоголя» и копировала его жилетки. Музыкальный критик, искусствовед Владимир Стасов вспоминал, что появление «Мертвых душ» стало событием необычайной важности для учащейся молодежи, толпой читавшей поэму вслух, чтобы не спорить об очереди: «...Мы в продолжение нескольких дней читали и перечитывали это великое, неслыханно оригинальное, несравненное, национальное и гениальное создание. Мы были все точно опьянелые от восторга и изумления. Сотни и тысячи гоголевских фраз и выражений тотчас же были всем известны наизусть и пошли в общее употребление»[14].

Впрочем, по поводу гоголевских словечек и фраз мнения разнились. Бывший издатель «Московского телеграфа» Николай Полевой был оскорблен выражениями и реалиями, которые сейчас выглядят совершенно невинно: «На каждой странице книги раздаются перед вами: подлец, мошенник, бестия... все трактирные поговорки, брани, шутки, всё, чего можете наслушаться в беседах лакеев, слуг, извозчиков»; язык Гоголя, утверждал Полевой, «можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики...»[15]. С ним был согласен одиозный критик Фаддей Булгарин: «Ни в одном русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме...»[16] Белинский возразил на это, что хотя язык Гоголя «точно неправилен, нередко грешит против грамматики», зато «у Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка — есть слог», и уколол чопорного читателя, который оскорбляется в печати тем, что свойственно ему в жизни, не понимая «поэмы, основанной на пафосе действительности, как она есть»[17]. С подачи Белинского, литературного законодателя 1840-х годов, Гоголь был признан первым русским писателем — долгое время все свежее и талантливое, что произрастало после него в литературе, автоматически относилось критиками к гоголевской школе.

До появления «Мертвых душ» положение Гоголя в литературе было еще неясно — «ни один поэт на Руси не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения»[18]; теперь же он перешел из разряда комических писателей в статус несомненного классика.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Гоголь стал как бы прародителем всей новой литературы и яблоком раздора для литературных партий, которые не могли поделить между собой главного русского писателя. В год выхода поэмы Герцен писал в дневнике: «Толки о “Мертвых душах”[19]. Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы №1 говорят, что это апотеоза Руси, “Илиада” наша, и хвалят, след., другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси и за то ругают.

Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда». Сергей Аксаков, оставивший о Гоголе обширные и чрезвычайно ценные мемуары и побудивший к тому же других сразу после смерти писателя, преувеличивает близость Гоголя к славянофилам и умалчивает о взаимоотношениях Гоголя с Белинским и его лагерем (впрочем, Гоголь и сам старался не ставить Аксакова в известность об этих отношениях). Белинский не отставал: «Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унизить названием натуральной»[20]. Достоевский, Григорович, Гончаров, Некрасов, Салтыков-Щедрин — трудно вспомнить, на кого из русских писателей второй половины XIX века Гоголь не повлиял.

Вслед за потомком эфиопов Пушкиным, выходец из Малороссии Гоголь надолго стал главным русским писателем и пророком. Художник Александр Иванов изобразил Гоголя на знаменитом полотне «Явление Христа народу» в виде фигуры, стоящей ближе всех к Иисусу. Уже при жизни Гоголя и вскоре после его смерти появились немецкий, чешский, английский, французский переводы поэмы.

В 1920–1930-е годы «Мертвые души» адаптировал Михаил Булгаков. В его фельетоне «Похождения Чичикова» герои поэмы Гоголя оказывались в России 1920-х годов и Чичиков делал головокружительную карьеру, становясь миллиардером. В начале 1930-х пьеса Булгакова «Мертвые души» с успехом шла во МХАТе; был им создан и киносценарий, никем, правда, не использованный. Гоголевская поэма отозвалась в литературе и более косвенно: скажем, стихотворение Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» (1921) написано под впечатлением от лирического вступления к шестой — плюшкинской — главе «Мертвых душ», в чем признавался сам поэт (на это намекают строки «О, моя утраченная свежесть» и «Я теперь скупее стал в желаньях»).

Имена некоторых гоголевских помещиков стали нарицательными: в «маниловском прожектерстве» обвинял народников Ленин, Маяковский озаглавил стихотворение о жадном обывателе «Плюшкин». Пассаж о птице-тройке школьники десятилетиями учили наизусть.

Экранизирована поэма Гоголя была впервые еще в 1909 году в ателье Ханжонкова; в 1960 году фильм-спектакль «Мертвые души» по пьесе Булгакова снял Леонид Трауберг; в 1984 году пятисерийный фильм с Александром Калягиным в главной роли снял Михаил Швейцер. Из недавних интерпретаций можно вспомнить «Дело о “Мертвых душах”» режиссера Павла Лунгина и громкую театральную постановку Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» в 2013 году.

БЫЛА ЛИ АФЕРА ЧИЧИКОВА ОСУЩЕСТВИМА НА ПРАКТИКЕ?

Каким бы фантастическим ни казалось предприятие с «мертвыми душами», оно было не только осуществимо, но формально не нарушало законов и даже имело прецеденты.

Умершие крепостные крестьяне, числящиеся за помещиком по ревизской сказке, для государства были живыми до следующей переписи и облагались подушным налогом. Расчет Чичикова был в том, что помещики будут только рады избавиться от уплаты лишнего налога и уступят ему за гроши мертвых (но на бумаге живых) крестьян, которых он затем сможет заложить. Единственная заминка состояла в том, что крестьян нельзя было ни купить, не заложить без земли (это, возможно, анахронизм: такая практика была запрещена только в 1841 году, а действие первого тома «Мертвых душ» разворачивается десятилетием раньше), но Чичиков разрешил ее легко: «Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй».

Сюжет поэмы, подаренный Гоголю Пушкиным (как пишет Гоголь в «Авторской исповеди»), был взят из реальной жизни. Литературовед Петр Бартенев в примечании к воспоминаниям Владимира Соллогуба пишет: «В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. “Из этого можно было бы сделать роман”, — сказал он между прочим. Это было еще до 1828 года»[21].

На это мог наложиться и другой сюжет, заинтересовавший Пушкина во время его пребывания в Кишиневе. В Бессарабию в начале XIX века массово бежали

Петр Боклевский. Чичиков. Иллюстрация к «Мертвым душам». 1895 год

крестьяне. Чтобы скрыться от полиции, беглые крепостные часто принимали имена умерших. Особенно славился такой практикой город Бендеры, чье население называли «бессмертным обществом»: в течение многих лет там не было зарегистрировано ни единого смертного случая. Как показало расследование, в Бендерах было принято за правило: умерших «из общества не исключать», а их имена отдавать новоприбывшим беглым крестьянам.

Вообще мошенничества с ревизскими списками были нередки. Дальняя родственница Гоголя Марья Григорьевна Анисимо-Яновская была уверена, что идею поэмы подал писателю ее собственный дядя Харлампий Пивинский. Имея пятерых детей и при этом всего 200 десятин*[1]

*[1] Десятина — единица земельной площади, равна 1,09 гектара. 200 десятин составляют 218 гектаров.

земли и 30 душ крестьян, помещик сводил концы с концами благодаря винокурне. Вдруг прошел слух, что курить вино разрешено будет лишь помещикам, имеющим не менее 50 душ. Мелкопоместные дворяне загоревали, а Харлампий Петрович «поехал в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, имении Пивинского, в 17 верстах от Яновщины*[1]; кроме того, и вся Миргородчина знала про мертвые души Пивинского»[22].

Другой местный анекдот вспоминает гимназический однокашник Гоголя: «В Нежине... был некто К-ачь, серб; огромного роста, очень красивый, с длиннейшими усами, страшный землепроходец, — где-то купил он землю, на которой находится — сказано в купчей крепости — 650 душ; количество земли не означено, но границы указаны определительно. ...Что же оказалось? Земля эта была — запущенное кладбище. Этот самый случай рассказывал Гоголю за границей князь Н. Г. Репнин»[23].

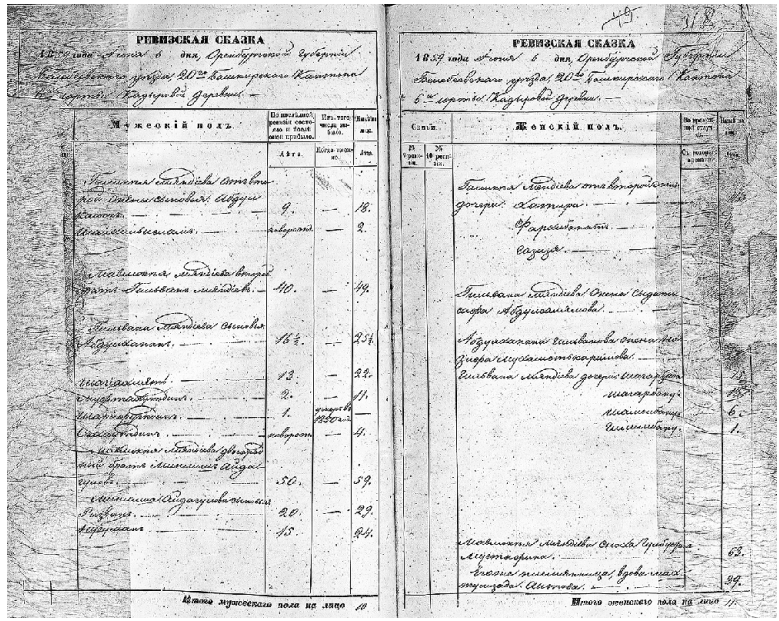
Вероятно, рассказ этот Гоголь выслушал в ответ на просьбу снабжать его сведениями о разных «казусах», «могущих случиться при покупке мертвых душ», с которой он донимал всех своих родственников и знакомых, — возможно, именно эта история отозвалась во втором томе поэмы в реплике генерала Бетрищева: «Чтоб отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я тебе их с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище!»

Несмотря на тщательные изыскания, проведенные писателем, в плане Чичикова остались неувязки, на которые указал Гоголю после выхода поэмы Сергей Аксаков: «Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу»[24]. Женщин и детей недальновидный Чичиков не покупал, видимо, просто потому, что их номинальная цена была ниже, чем за мужиков.

ПОЧЕМУ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» — ПОЭМА?

Назвав свое главное произведение поэмой, Гоголь прежде всего имел в виду, что это не повесть и не роман в понимании его времени. Такое необычное жанровое определение проясняют наброски Гоголя к неосуществленной «Учебной книге словесности для русского юношества», где Гоголь, разбирая разные роды литературы, «величайшим, полнейшим, огромнейшим и многостороннейшим из всех созданий»[25] называет эпопею, способную охватить целую историческую эпоху, жизнь нации или даже всего человечества, — в пример такой эпопеи Гоголь приводит

*[1] Другое название имения Гоголей — Васильевка.


РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА

Мужеский пол

Женский пол

Ревизская сказка 1859 года по деревне Новое Катаево Оренбургской губернии

«Илиаду» и «Одиссею», любимые им в переводах Гнедича и Жуковского соответственно. В то же время роман, как мы интуитивно назвали бы «Мертвые души» сегодня, «есть сочинение слишком условленное», в нем главное — интрига: все события в нем должны непосредственно относиться к судьбе главного героя, персонажей романа автор не может «передвигать быстро и во множестве, в виде пролетающих мимо явлений»; роман «не берет всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни» — а ведь цель Гоголя была именно в том, чтобы создать своего рода русский космос.

Русским Гомером немедленно объявил Гоголя в печати Константин Аксаков, вызвав насмешки Белинского, в действительности не совсем справедливые. Многие приемы Гоголя, смутившие критиков, становятся понятны именно в гомеровском контексте: например, лирическое отступление, ради которого рассказчик бросает Чичикова на дороге, чтобы так же внезапно к нему вернуться, или развернутые сравнения, пародирующие — по выражению Набокова — ветвистые параллели Гомера. Господ в черных фраках на вечеринке у губернатора, снующих вокруг дам, Гоголь сравнивает с роем мух — и из этого сравнения вырастает целая живая картина: портрет старой ключницы, которая колет сахар летним днем. Точно так же, сравнив лицо Собакевича с тыквой-горлянкой, Гоголь вспоминает, что из таких тыкв делают балалайки — и перед нами из ниоткуда вырастает образ балалаечника, «мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц» и решительно

никакой роли не играющего в сюжете поэмы.

В ту же эпическую копилку — внезапные и неуместные перечисления не относящихся к действию имен и деталей: Чичиков, желая развлечь губернаторскую дочку, рассказывает ей приятные вещи, которые «уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах, именно: в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной» — чем не гомеровский список кораблей.

Помимо этого, жанровое определение «Мертвых душ» отсылает к произведению Данте, которое называется «Божественной комедией», но представляет собой поэму. Трехчастную структуру «Божественной комедии», предположительно, должны были повторить «Мертвые души», но закончен оказался только «Ад».

ПОЧЕМУ ЧИЧИКОВА ПРИНИМАЮТ ЗА НАПОЛЕОНА?

Сходство Чичикова с Наполеоном встревоженно обсуждают чиновники города NN, обнаружив, что обаятельнейший Павел Иванович оказался каким-то зловещим проходимцем: «...вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию будто бы Чичиков». Такое подозрение — наряду с делателем фальшивых ассигнаций, чиновником генерал-губернаторской канцелярии (то есть фактически ревизором), благородным разбойником «вроде Ринальда Ринальдина»*[1] — выглядит обычным гоголевским абсурдизмом, однако в поэме оно возникло не случайно.

Еще и в «Старосветских помещиках» некто «рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта». Подобные разговоры могли подпитываться слухами о «ста днях», то есть о побеге Наполеона с острова Эльба и его вторичном кратком правлении во Франции в 1815 году. Это, кстати, единственное место в поэме, где уточняется время действия «Мертвых душ»: «Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере на целые восемь лет, заклятыми политиками». Таким образом, Чичиков путешествует по русской глубинке в начале 1820-х годов (по летам он старше

*[1] Герой-разбойник из романа Кристиана Августа Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини», вышедшего в 1797 году.

и Онегина, и Печорина), а точнее, вероятно, в 1820 или 1821 году, поскольку Наполеон умер 5 мая 1821 года, после чего возможность подозревать его в Чичикове естественным образом пропала.

К приметам времени относятся и некоторые косвенные признаки вроде любимой почтмейстером «Ланкастеровой школы взаимного обученья», которую Грибоедов упоминает в «Горе от ума» как характерное увлечение декабристского круга.

Бонапарт, внезапно объявившийся инкогнито в заштатном русском городе, — распространенный фольклорный мотив времен Наполеоновских войн. Петр Вяземский приводит в «Старой записной книжке» анекдот об Алексее Михайловиче Пушкине (троюродном брате поэта и большом острослове), в войну 1806–1807 годов состоявшем по милиционной службе при князе Юрии Долгоруком: «На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене. “Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?” — “А вот затем, Ваше превосходительство, — отвечает он, — что, если неравно, Бонапартий под чужим именем или с фальшивой подорожною приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству”, — “А, это дело другое!” — сказал Пушкин».

А МОЖЕТ БЫТЬ, ЧИЧИКОВ — ЧЕРТ?

«Чорта называю прямо чортом, не даю ему вовсе великолепного костюма à la Байрон и знаю, что он ходит во фраке»[26], — писал Гоголь Сергею Аксакову из Франкфурта

Петр Боклевский. Манилов. Иллюстрация к «Мертвым душам». 1895 год

в 1844 году. Эту мысль развил в статье «Гоголь и черт» Дмитрий Мережковский: «Главная сила дьявола — уменье казаться не тем, что он есть. <...> Гоголь первый увидел черта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычайностью, а обыкновенностью, пошлостью; первый понял, что лицо черта есть не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, вообще реальное “человеческое...”... почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть сами собою и соглашаемся быть “как все”»[27].

В этом свете искры на брусничном фраке Чичикова блестят зловеще (Чичиков, как мы помним, вообще в одежде держался «коричневых и красноватых цветов с искрою»; во втором томе купец продает ему сукно оттенка «наваринского дыму с пламенем»).

Павел Иванович лишен отличительных черт: он «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». И при этом, как настоящий искуситель, очаровывает всех, с каждым говоря на его языке: с Маниловым он сентиментален, с Собакевичем деловит, с Коробочкой попросту груб. Умеет поддержать любой разговор: «Шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе... трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиартной игре — и в билиартной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах». Чичиков покупает человеческие души не только в деловом смысле, но и в переносном: для каждого он становится зеркалом, чем и подкупает.

В лирическом отступлении автор прямо спрашивает читателя: «А кто из вас... в минуты уединенных бесед с самим собой углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: “А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?” Да, как бы не так!» — тогда как в соседе всякий сразу же Чичикова узнать готов.

И смотрясь в это зеркало, бледнеет инспектор врачебной управы, подумавший, что под мертвыми душами разумеются больные, умершие в лазаретах, потому что он не принял нужных мер; бледнеет председатель, выступивший в сделке с Плюшкиным поверенным вопреки закону; бледнеют чиновники, покрывшие недавнее убийство купцов: «Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было».

Сам Чичиков непрестанно любуется на себя в зеркало, треплет себя по подбородку и одобрительно комментирует: «Ах ты, мордашка эдакой!» — но читатель так и не встретит описания его лица, за исключением апофатического, хотя прочие герои поэмы описаны очень подробно. Он как будто не отражается в зеркалах — как нечисть в народных поверьях. В фигуре Чичикова сконцентрирована та знаменитая гоголевская чертовщина, на которой построены «Вечера на хуторе близ Диканьки» и которая в «Мертвых душах» присутствует хотя и не так явно, но несомненно. Михаил Бахтин обнаруживает в основе «Мертвых душ» «формы веселого

Петр Боклевский. Коробочка. Иллюстрация к «Мертвым душам». 1895 год

(карнавального) хождения по преисподней, по стране смерти. <...> Недаром, конечно, загробный момент присутствует в самом замысле и заголовке гоголевского романа ("Мертвые души"). Мир "Мертвых душ" — мир веселой преисподней. <...> Найдем мы в нем и отребье, и барахло карнавального "ада", и целый ряд образов, являющихся реализацией бранных метафор»[28].

В этом контексте Чичиков — карнавальный, балаганный чертик, ничтожный, комичный и противопоставленный возвышенному романтическому злу, часто встречающемуся в современной Гоголю литературе («дух отрицанья, дух сомненья» — пушкинский демон — является у Гоголя в образе во всех отношениях приятной дамы, которая «была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни»).

Этот жизнерадостный демонизм, как отмечает[29] исследовательница Елена Смирнова, сгущается к концу первого тома в картине «взбунтованного» города, где из всех углов полезла встревоженная Чичиковым нечисть: «...и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки... <...> Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки — и заварилась каша».

ПОЧЕМУ РАССКАЗЧИК В «МЕРТВЫХ ДУШАХ» ТАК БОИТСЯ ДАМ?

Стоит рассказчику коснуться в своих рассуждениях дам, на него нападает ужас: «Дамы города N. были... нет, никаким образом не могу; чувствуется точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем».

Уверения эти не следует принимать за чистую монету — ведь тут же мы находим такое, например, смелое описание:

> Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала, по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал и обвивал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель.

Тем не менее опасения у рассказчика есть, и не беспочвенные. Елена Смирнова заметила, что разговор «дамы приятной во всех

отношениях» и «дамы просто приятной» в «Мертвых душах» близко к тексту повторяет щебет княжон с Натальей Дмитриевной Горич в третьем действии «Горя от ума» («*1-я княжна*: Какой фасон прекрасный! *2-я княжна:* Какие складочки! *1-я княжна:* Обшито бахромой. *Наталья Дмитриевна:* Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный...» — и т. п.) и играет ту же конструктивную роль в действии[30].

В обоих случаях от обсуждения мод, «глазков и лапок» дамы переходят непосредственно к сплетням и, восстав «общим бунтом» (у Грибоедова) или направившись «каждая в свою сторону бунтовать город» (у Гоголя), запускают слух, разрушивший жизнь главному герою: в одном случае о сумасшествии, в другом — о злокозненном плане увоза губернаторской дочки. В дамах города N. Гоголь отчасти изобразил матриархальный террор фамусовской Москвы.

Яркое исключение — губернаторская дочка. Это вообще единственный персонаж в первом томе поэмы, которым откровенно любуется рассказчик — ее личиком, похожим на свеженькое яичко, и тоненькими ушками, рдеющими теплым солнечным светом. Необыкновенное действие производит она на Чичикова: впервые он растерян, пленен, забывает о наживе и необходимости всем угождать и, «обратившись в поэта», рассуждает, что твой Руссо: «Она теперь как дитя, все в ней просто: она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться».

Этот светлый и совершенно безмолвный женский образ должен был довоплотиться во втором томе «Мертвых душ» в положительном идеале — Улиньке. Отношение Гоголя к женщинам мы знаем по его «Выбранным местам из переписки с друзьями», где он опубликовал под заглавием «Женщина в свете» вариации на свои реальные письма к Александре Смирновой-Россет, которую часто называют «утаенной любовью» Гоголя (во всю жизнь не замеченного в любовных связях). Идеальная женщина, выработанная Гоголем с юности под влиянием немецких романтиков, бесплотна, почти безмолвна и явно бездеятельна — она «оживотворяет» общество, зараженное «нравственной усталостью», одним своим присутствием и своей красотой, которая недаром поражает даже самые очерствевшие души: «Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?» (Как мы видим, женская власть и здесь амбивалентна: так и из губернаторской дочки «может быть чудо, а может выйти и дрянь».)

Отвечая на вопрос, «что делать молодой, образованной, красивой, состоятельной, нравственной и все еще не довольной своей светской бесполезностью женщине», замечает Абрам Терц, Гоголь «не зовет ее ни резать лягушек, ни упразднять корсет, ни даже плодить детей, ни воздерживаться от деторождения». «Гоголь ничего не требует от нее, кроме того, что она уже имеет как женщина, — ни нравоучений, ни общественной деятельности. Ее благая задача — быть собою, являя всем в назидание свою красоту»[31]. Понятно, почему «Женщину в свете» высмеивает вивисектор лягушек — тургеневский Базаров, поколебавшийся в своем нигилизме под влиянием любви: «...я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше» (женой калужского губернатора была как раз Александра Смирнова).

Губернаторская дочка, которая «только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы», не зря единственный светлый персонаж поэмы: она — реинкарнация Беатриче, которая должна вывести героя из дантовского ада первого тома, и преображение это внушает автору благоговейный страх.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ПОД МЕРТВЫМИ ДУШАМИ?

Несмотря на то что это словосочетание имеет прямое значение — умершие крепостные, которых именовали «душами» (так же как табун лошадей считают по «головам»), в романе ясно считывается и переносный смысл: люди, мертвые в духовном смысле. Анонсируя будущих положительных героев своей поэмы — «мужа, одаренного божескими доблестями, или чудную русскую девицу, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души», автор добавляет: «Мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга пред живым словом!» Тем не менее современники склонны были противопоставлять этим живым, русским и народным идеалам не иноземцев, а чиновников и помещиков, считывая это как социально-политическую сатиру.

Анекдотическое обсуждение поэмы в цензурном комитете Гоголь описывает в письме Плетневу в 1842 году: «Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк... произошла еще большая кутерьма. «Нет, — закричал председатель и за ним половина цензоров, — этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа, — уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права».

Несколько ограниченную трактовку Голохвастова, надо заметить, разделяли многие поклонники Гоголя. Более проницательным оказался Герцен, увидевший в поэме не столько социальные карикатуры, сколько мрачное прозрение о человеческой душе: «Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу. <...> Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев?» Герцен предполагает, что Ленский в «Евгении Онегине» превратился бы с годами в Манилова, не «расстреляй» его автор вовремя, и сокрушается, что Чичиков — «один деятельный человек... и тот ограниченный плут» не встретил на своем пути «нравственного помещика добросерда, стародума» — именно это должно было произойти, по гоголевскому замыслу, во втором томе «Мертвых душ».

Неудачная судьба второго тома, который Гоголь вымучивал десять лет и дважды сжег, отчасти, возможно, объясняется тем, что Гоголь не смог найти удовлетворительные «живые души» в той самой

действительности, уродливые стороны которой он показал в первом томе (где он описывает своих помещиков на самом деле не без симпатии). Собакевичу, Манилову и Ноздреву он противопоставляет не русский народ, как принято было считать в советском литературоведении, а неких эпических или сказочных героев. Самые поэтические описания русских мужиков в поэме относятся к крестьянам Собакевича, которых тот расписывает как живых, чтобы набить цену (а вслед за ним в фантазии о русской удали пускается и Чичиков): «Да, конечно, мертвые», — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: «впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».

ЗАЧЕМ В ПОЭМЕ ГОГОЛЯ СТОЛЬКО РАЗНОЙ ЕДЫ?

Прежде всего Гоголь очень сам любил поесть и попотчевать других.

Сергей Аксаков вспоминает, например, с каким артистическим упоением Гоголь собственноручно готовил друзьям макароны: «Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя». Другой мемуарист, Михаил Максимович, вспоминает: «На станциях он покупал молоко, снимал сливки и очень искусно делал из них масло с помощью деревянной ложки. В этом занятии он находил столько же удовольствия, как и в собирании цветов».

Михаил Бахтин, анализируя раблезианскую природу творчества Гоголя, замечает по поводу «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Еда, питье и половая жизнь в этих рассказах носят праздничный, карнавально-масленичный характер». Намек на этот фольклорный пласт можно усмотреть и в пиршественных сценах «Мертвых душ». Коробочка, желая задобрить Чичикова, ставит на стол разные пирожки и припеки, из которых Чичиков уделяет главное внимание блинам, макая их сразу по три в растопленное масло и нахваливая. Блинами на Масленицу задабривают колядующих, олицетворяющих нечистую силу, а Чичиков, приехавший «Бог знает откуда, да еще и в ночное время» и скупающий покойников, в глазах простодушной «матушки-помещицы» смахивает на нечисть.

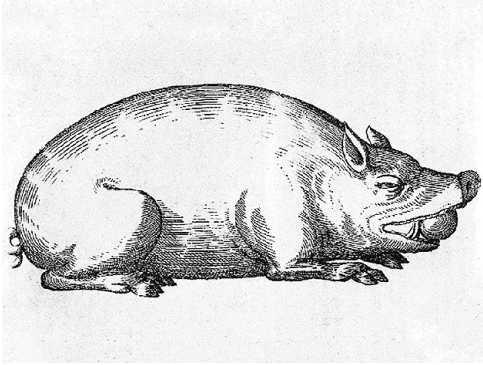
Еда служит для характеристики помещиков, так же как их жены, деревни и обстановка, причем часто именно за едой в гоголевских карикатурах проступают симпатичные человеческие черты. Потчуя Чичикова «грибками, пирожками, скородумками*[1], шанишками*[2], пряглами*[3], блинами, лепешками со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком,

---

*[1] Яичница-глазунья, испеченная вместе с хлебом и ветчиной.

*[2] Уменьшительная форма слова «шаньги» — круглые пирожки, традиционное блюдо русской кухни. В записной книжке Гоголя — «род ватрушки, немного меньше». Впрочем, шаньги, в отличие от ватрушек, не делают сладкими.

*[3] «Пышки, оладьи». (Из записной книжки Н. В. Гоголя.)



Жареный поросенок. Гравюра XIX века

припекой с творогом, припекой со сняточками*[1]», Коробочка напоминает, безусловно, милую автору Пульхерию Ивановну из «Старосветских помещиков» с ее коржиками с салом, солеными рыжиками, разными сушеными рыбками, варениками с ягодами и пирожками — с маком, с сыром или с капустою и гречневою кашею («это те, которые Афанасий Иванович очень любит»). Да и вообще она хорошая хозяйка, заботится о крестьянах, ночному подозрительному гостю радушно стелит перины и предлагает почесать пятки.

Собакевич, который в один присест уминает бараний бок или целого осетра, зато лягушку или устрицу (еду «немцев да французов») в рот не возьмет, «хоть сахаром облепи», напоминает в этот момене былинного русского богатыря вроде Добрыни Никитича, выпивавшего разом «чару зелена вина в полтора ведра», — недаром его покойный батюшка один на медведя хаживал; русский медведь — совсем не пейоративное определение в гоголевском мире.

Манилов, выстроивший себе «храм уединенного размышления» и говорящий кучеру «Вы», предлагает Чичикову «просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца» — атрибут сельской идиллии среди счастливых поселян. Маниловка и ее обитатели — пародия на литературу сентиментализма. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь пишет: «Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности», — Манилов, как мы помним, был не лишен приятности, однако «в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару». Обед в Маниловке, против обыкновения, не описан подробно — зато мы знаем, что Манилов с супругой то и дело приносили друг другу «или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек», тем самым показывая хоть и гротескный, но единственный пример супружеской любви во всей поэме.

Только от Ноздрева Чичиков уезжает голодным — блюда у него пригорелые или недоваренные, сделанные поваром из чего попало: «...стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катай-валяй...»; зато Ноздрев

*[1] Снеток — мелкая озерная рыба.

много пьет — и тоже какую-то несусветную дрянь: мадеру, которую купцы «заправляли беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки», какой-то «бургоньон и шампаньон вместе», рябиновку, в которой «слышна была сивушища во всей своей силе».

Наконец, Плюшкин — единственная в «Мертвых душах» не комическая, а трагическая фигура, чью историю трансформации рассказывает нам автор, тем самым неизбежно вызывая сочувствие, — не ест и не пьет совсем. Его угощение — тщательно сберегаемый сухарь из пасхального кулича, привезенного дочерью, — довольно прозрачная метафора будущего воскресения. В «Выбранных местах» Гоголь писал: «Воззови... к прекрасному, но дремлющему человеку... чтобы спасал свою бедную душу... нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нём души. <...> О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома “Мертвых душ”!»

Описать это возрождение Гоголю уже не пришлось: есть трагический парадокс в том, что в последние дни Гоголь жестоко постился, как считается, уморив себя голодом, отрекшись от еды и от смеха, — то есть сам обернувшись Плюшкиным в каком-то духовном смысле.

ПОЧЕМУ ГОГОЛЬ РЕШИЛ СДЕЛАТЬ СВОЕГО ГЕРОЯ ПОДЛЕЦОМ?

Сам автор мотивировал свой выбор так: «Обратили в рабочую лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем, чем попало... изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, и остались только ребра да кожа вместо тела... лицемерно призывают добродетельного человека... не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца».

Однако за Чичиковым никаких особенных подлостей не значится, от его афер едва ли кто-то пострадал (разве что косвенно — прокурор умер от испуга). Набоков называет его «пошляком гигантского калибра», отмечая при этом: «Пытаясь покупать мертвецов в стране, где законно покупали и закладывали живых людей, Чичиков едва ли серьезно грешил с точки зрения морали».

При всей карикатурной пошлости Чичикова, он ведь и есть тот русский, который любит быструю езду, в апологетическом пассаже о тройке. Именно ему предстояло пройти горнило испытаний и духовно возродиться в третьем томе.

Предпосылка для такого возрождения — единственное свойство, отличающее Чичикова от всех прочих героев «Мертвых душ»: он деятелен. Житейские неудачи не гасят в нем энергии, «деятельность никак не умирала в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана». В этом отношении он тот самый русский человек, которого «пошли... хоть в Камчатку да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу».

Конечно, деятельность его покуда только приобретательская, а не созидательная, в чем автор видит его главный порок. Тем не менее именно и только энергия Чичикова движет действие с места — от движения его птицы-тройки

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru